



Н. Н. АЛЕКСЕЕВ

В бурные годы

<фрагмент>

СПУТНИКИ И ДРУЗЬЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ

В бурные годы, которые я описываю, закончили свое университетское образование — одни немного ранее меня, другие позднее — ряд моих сверстников и товарищей, вышедших, как и я, из кружка, группировавшегося около П. И. Новгородцева. О двух из них мне хочется сказать здесь несколько слов.

Мой друг и муж моей младшей сестры Б. П. Вышеславцев¹ учился в той самой 3-й московской гимназии, в которой учился и я и которую описал В. М. Зензинов² в своих воспоминаниях. Он окончил курс юридического факультета на несколько лет ранее меня и занялся адвокатурой. Но адвокатура его не удовлетворила и он променял ее на менее прибыльную профессию русского ученого. «Адвокатура процветает, — пишет он в своем дневнике 1902 г., — но я читаю Канта...»

«Я все более занимаюсь философией, адвокатуру совсем оставил...» Друг и университетский товарищ его, В. А. Савальский³, ученик Новгородцева и позднее профессор Варшавского университета (умер в 1916 г.), ввел Вышеславцева в кружок, группировавшийся около Новгородцева, который и оставил Бориса Петровича при университете для приготовления к профессорскому званию со скромной стипендией в 50 рублей в месяц. Вот запись Вышеславцева, характеризующая, чем жили некоторые круги русской молодежи в начале девятисотых годов нашего века: «Читаю всех старых кантианцев вплоть до Фихте и увлекаюсь истреблением “вещи в себе”... Моя работа

написана с большой страстностью, как сказал профессор Новгородцев... Я читаю работу Н. Н. Алексеева, он мою, происходят страстные дебаты и весьма враждебная полемика с ним — впоследствии моим другом в самые лучшие годы странствий».

Вышеславцев выдержал магистерские испытания годом раньше, чем я и уехал в двухгодичную командировку за границу. Я его догнал через год в Гейдельберге и Марбурге. «Пожалуй, самый блестящий момент нашей молодости, — пишет он, — свобода, надежды, возможности, все впереди...» «Берлин, Марбург, Италия, Рим, Париж, Гейдельберг — везде новые впечатления, новые встречи, новые мысли и идеи». Из университетских городов его более всего привлекал Марбург, где у подножия старого замка, на берегах тихо струящегося Лана, приютился старый университет, в котором некогда учились Джордано Бруно и наш Ломоносов. Мы посещали лекции и работали в семинарах Пауля Наторпа и Германа Когена, некогда известных всему философскому миру германских философов. В тот год, когда мы туда приехали, в Марбурге собрался ряд выдающихся молодых ученых, с которыми мы стояли в тесном общении, — Николай Гартман⁴, в будущем едва ли не самый известный немецкий философ и ректор Берлинского университета, Хаймзют, позднее профессор и ректор Кенигсбергского университета, Дельрио (или Лос-Риос, как его иначе называли), испанский профессор, лидер испанских республиканцев, позднее испанский посланник в Вашингтоне, Татаркевич⁵, позднее профессор в Кракове, В. Э. Сеземан⁶, впоследствии профессор в Ковно, Гавронский, позднее профессор в Берне. «Зима, снег, — пишет Вышеславцев, — иду к Гартману. Он живет наверху, у готической церкви, в старом германском домике, где мог бы жить молодой Вертер или Фихте в молодые годы... Комната натоплена хорошо, Гартман всегда дает крепкий кофе, который сам делает. Мы ведем философский диалог... Чудное, тихое время созерцания и мысли».

Из Марбурга вывез Вышеславцев свою диссертацию «Этика Фихте», которая имела большой успех в России и открыла перед ним широкую академическую дорогу. Ему был поручен курс истории политических учений, который до него читал Новгородцев, выбывший из числа профессоров после подписания Выборгского воззвания⁷. Семинар Вышеславцева всегда собирал большое количество слушателей, кроме того, он читал в Московском коммерческом институте и в Народном университете Шанявского, где его лекции по истории философии пользовались особым успехом и создали ему много поклонников.

В 1917 г. в январе мы оба были избраны юридическим факультетом экстраординарными профессорами нашего факультета — избрание, утверждение которого было отложено в силу последующих революционных событий до осени, так и осталось не санкционированным высшими инстанциями: после Октябрьской революции все стали называться «профессорами» без всяких высших санкций.

В эмиграцию Вышеславцев прибыл в 1922 г. вместе с группой высланных из советской России ученых. Запомнились его слова, произнесенные при первой нашей беседе: «Философия должна быть теперь не изложением малодоступных для людей теоретических проблем, но учительницей жизни». Отсюда тяга его к религиозной философии, на которой он сосредоточился в эмиграционные годы. Однако под «религиозной философией» он понимал не богословскую догматику, ему чуждую, но свободное обсуждение религиозных проблем, в котором у него всегда чувствовалось влияние древней философской традиции и классического образования.

Следуя намеченному им пути, он еще в Берлине сблизился с организацией Христианского Союза молодых людей (ИМКА)⁸ и начал посещать ее съезды и конференции, а также читать лекции в основанной в Берлине и затем переехавшей в Париж Религиозно-философской академии⁹. При переезде в 1924 г. в Париж он был приглашен на должность редактора в издательство ИМКА-Пресс. Многие русские литераторы должны быть ему благодарны за готовность всегда помочь в вопросе издания книг в названном издательстве. Он был, кроме того, профессором Православной богословской академии в Париже¹⁰. Интерес к философии у него был так глубок, что перед лицом смерти, в тяжких страданиях, он любил говорить на философские темы. «Возвращаюсь к истокам бытия, — сказал он мне в один из последних дней своей жизни. — Все понял, как это просто...»

Трудно представить более противоположные натуры, чем Вышеславцев и другой, более молодой, ученик Новгородцева, И. А. Ильин. У первого преобладали эмоция, увлечение, страсть, во втором — чистый интеллект, недюжинный, но сухой, педантичный, склонный к установлению точных определений, детальных различий, прямолинейных систем и безжизненных схем. Кто хочет убедиться в этом, пускай прочтет его раннюю статью «Сила и право»¹¹, с которой он дебютировал в журнале Московского психологического общества «Вопросы философии и психологии». В ней конденсирован весь Ильин, как философ — внешне блестяще, логически очень выдержанно, но ре-

альность потоплена в искусственно придуманной и мертвой схеме. В таком духе разделал он и Гегеля в своей диссертации, превратившей великого немецкого философа в последователя посредственного и скучного представителя новейшей германской философии Гуссерля. Вышеславцев был человеком легким, веселым, приветливым, Ильин был хмур, нарочито серьезен, мрачен. К людям он относился плохо, любил их обличать. Помню — это было в Гейдельберге, когда мы были уже людьми с известным стажем, — ко мне пришел знакомый русский студент, малый восторженный и глупый. «Николай Николаевич, — говорит он мне, — я в совершенном ужасе. Я всегда почитал Московский университет, считал его первым в России. Вот встретил сегодня в купальне профессора Ильина, начали с ним разговаривать о Москве, об университете, о его профессорах, а он мне — университет Московский — да ведь это помойная яма, профессора московские — один “гнусь”, другой “мразь”, третий “гниль”, четвертый “ничтожество”... Скажите мне, неужели это правда?» Студента я постарался успокоить, а, вернувшись в Москву, встретил Ильина в университетской библиотеке. Говорю ему: «Что же это вы, Иван Александрович, поносите так наш университет и ваших ближайших коллег и сослуживцев?»... «Я вас не поносил, — говорит, — вы обладаете научной совестью»... «Да дело, — говорю, — не во мне. Дело в том, что не стоит разоблачать своих товарищей перед незнакомыми студентами и поносить их. У всех нас имеются недостатки, но из этого еще не следует, что все мы — помойная яма». Началось малоприятное объяснение, в заключение которого Ильин заявил: «Значит, вы считаете меня подлецом»... «Подлецом я вас не считаю, — ответил я, — но думаю, что вы приобретете много врагов и можете иметь большие неприятности, если эпитеты, которыми вы наделяете ваших коллег, случайно станут им известны». Мы разошлись и долго не разговаривали друг с другом. Потом помирились, но никогда теплые отношения с Ильиным у меня так и не установились. И Вышеславцев и Ильин были отличными лекторами — каждый в своем роде. Вышеславцев мог вдохновить слушателей, увлечь их, Ильин умел вдолбить в них сухие элементарные понятия общей теории права — его практические занятия по этому предмету в Коммерческом институте собирали не одну сотню студентов. Нарочитую серьезность своего устного изложения он старался смягчить остротами, которые были рассчитаны на невысокий вкус, но нравились студентам. Про него была сочинена эпиграмма: «Рассеять может всякий сплин доцент из молодых, Ильин...»

Но в чем сошлись эти две столь различные натуры — это в невероятной ненависти к «большевикам». Ненависть эта толкнула Вышеславцева на необдуманный шаг сближения с нацистским «Антикоминтерном»¹², а Ильина превратила в деятельного члена и идеолога Лиги Обера — противосоветской организации, основанной в Женеве после убийства советского дипломата Воровского¹³ бывшим русским офицером Конради и существовавшей на средства, собираемые женевским адвокатом Обером. Вступление в нее Ильина вполне соответствовало его характеру, — он с молодых лет погружен был в политику; тогда как только излишняя эмоциональность заставила Вышеславцева, которому политика была стихией совершенно чуждой, свернуть со своего жизненного пути. Я говорю это как друг, которому больно было смотреть на слепую озлобленность этого доброго человека и философа, потерявшего в данном случае дар спокойно и мудро взирать на разрывающуюся перед нашими глазами мировую историческую трагедию.

Ильин в молодости своей увлекался анархизмом и был крайним революционером. В годы первой революции он написал брошюру, под псевдонимом, если не ошибаюсь, А. Иванов, «Бунт Стеньки Разина»¹⁴, где он прославлял деяния этого вождя «народной обороны» (издана была, сколько помню, у Парамонова в «Донской речи»). Помню, как однажды — это было в 1905 году — я зашел к нему по какому-то делу, жил он тогда на Молчановке, в небольшом домике, на втором этаже. Когда я подходил к его дому за мною шел человек в лохматой барашковой шапке, с поднятым по уши воротником и выглядывающей из-под воротника черной бородой, — фигура, надо сказать, очень мрачная. В руках он нес небольшую плетеную корзинку, какие в России брали с собою в дорогу пассажиры третьего класса. Когда я вошел в подъезд дома Ильина, человек поотстал. Отпер мне Ильин, ввел в маленький его кабинетик. Только что я уселся, последовал новый звонок. Дверь в прихожую была отворена, и я увидел, что следовавший за мною человек тоже шел к Ильину. Они о чем-то пошептались, человек ушел, а корзиночку Ильин внес в кабинет и осторожно поставил в комнате. Переговорив с Ильиным, я начал уходить и, двигаясь через маленькую комнату в прихожую, нечаянно задел корзиночку ногой. «Осторожно, Николай Николаевич, — воскликнул Ильин, указывая на корзинку, — в ней бомбы...»

Высланный вместе с другими русскими учеными в 1922 г. из советской России за границу, Ильин не утерял своего сочувствия террору. Он опубликовал нашушевшую в свое время кни-

гу «О сопротивлении злу силою», посвященную «белым войнам, носителям православного меча», из которой в общем следовало, с подробными богословскими доказательствами, что христианская религия террор (конечно, направленный против «левых») признает и одобряет. Книга эта создала ему большую популярность среди белого офицерства, группирующегося около «Общевойнского союза»¹⁵, и в крайне правых кругах русской эмиграции, где его до сей поры считают чуть ли не пророком.

После Октябрьской революции оба мои современника стали «религиозными философами», но, на мой взгляд, мой друг Вышеславцев до последних, тяжелых дней своей жизни был христианским эпикурейцем, а в христианстве Ильина было нечто от сурового, религиозно-жестокого и безотрадного кальвинизма¹⁶. Недаром он своей фигурой и своим лицом был похож на статуи тех кальвинистов, памятники которым стоят в Женеве в саду против университета.

